

Исторический нарратив и мифология XX столетия

Юрий Шатин

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вполне вероятно, что историки будущего, обратившись к мышлению XX века, удивятся прежде всего двум обстоятельствам. Первое из них связано с тем, что несмотря на громадные достижения естественных наук и технических изобретений, обыденное мышление сохранило все признаки, присущие носителям архаических мифов, наполнив их новыми тематизмами. Однако не менее удивительно и другое: именно в XX столетии обыденное мышление подверглось беспрецедентной критике со стороны семиотики, причём главной мишенью такой критики стала сама система мифологических представлений, широко функционирующих в обществе. Цель такой критики осознавалась и отчетливо формулировалась семиологией, ведь «разоблачение, совершаемое мифологом, является политическим актом; утверждая идею ответственности языка, он тем самым постулирует его свободу»¹.

Указанное противоречие, бесспорно, повысило социальный статус семиотики как пространства языковой свободы, конструируемой в пике мифологическому мышлению. Вместе с тем оно коренным образом пересмотрело значение исторического нарратива, который потерял роль истины в последней инстанции и сам оказался объектом критической рефлексии со стороны специалистов. «В своей традиционной форме история есть превращение *памятника в документ*. <...> Современная же история – это механизм, преобразующий *документ в памятник*»².

Метаморфоза, проделанная семиотикой с историческим нарративом, понизила его значение как достоверного источника фактов, но одновременно прочно связала с искусством повествования в широком смысле, сделав объектом поэтики и риторики. Сочувственно излагая основные положения работы Х. Уайта «*Metahistory: The Historical Imagination in XIXth-Century Europe*» (L., 1973) и её теоретического введения с характерным названием «Поэтика исто-

¹ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.127.

² Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С.11.

рии», П. Рикер пишет: «первое ощущение «поэтики» исторического дискурса состоит в том, что *вымысел и история принадлежат* – под углом зрения нарративной структуры – *к одному и тому же классу*. Допущение второе: сближение истории и вымысла влечет за собой и другое сближение – между историей и литературой. Это нарушение привычных классификаций требует, чтобы была принята всерьёз характеристика *истории как писания*. «Писание истории»... не есть нечто внешнее по отношению к концепции истории и историческому произведению; оно не является вторичной операцией, которая связана только с риторикой коммуникации и которую можно было бы игнорировать как нечто принадлежащее лишь к сфере литературного оформления. Оно конструктивно для исторического способа понимания. История по сути своей – это историко-графия, или выражаясь в откровенно провоцирующем стиле, – артефакт литературы (a literary artifact)»³.

В то же самое время для исторического нарратива сохраняет силу определение Аристотеля, разводящее историю и литературу. Историк и поэт различаются тем, что первый говорит о действительно случившемся, а второй – о том, что могло бы случиться»⁴. Таким образом, ничто не мешает историческому нарративу притворяться системой фактов, являясь по сути системой значимостей и функционировать в обыденном сознании как миф. «Всякая семиологическая система есть система значимостей, но потребитель мифа принимает значение за систему фактов: миф воспринимается как система фактов, будучи на самом деле семиологической системой»⁵.

Всякий раз, когда мы говорим о мифологии XX столетия, открывается соблазнительная возможность полностью отождествить мифы новейшего времени с архаическими мифами. Однако такое отождествление чревато сокрытием важнейших отличий. Совпадая по глубинной структуре, современные мифы отличаются от архаических как по своему генезису, так и различной прагматикой. Как известно, архаические мифы возникли стихийно, чего нельзя сказать о новейших мифах. «Двадцатый век породил «технику» мифологического мышления, не имеющую аналогов в истории. С этого момента мифы стали изобретаться и производиться в том же самом смысле и теми же самыми методами, как изобретаются и производятся пулеметы и боевые самолеты. Использовались мифы с той же целью, что и боевая техника, – для ведения внутренней и внешней войны. Вот ещё одно невиданное в прошлом явление – явление, изменившее весь облик политической жизни нашего времени»⁶. Мифы новейшего времени – это мифы с новейшей прагматикой, отчетливо ориентированной на определенную группу, партию людей в противовес другой группе. Мифология XX века органическим образом перерастает в идеологию, в тот время как исторический нарратив – средство обслуживания идеологии, превращающее фабулу (story) различных событий в завершённый мифологический сюжет (plot).

³ Рикер П. *Время и рассказ*. Т.1 М.; СПб, 2000. С.187.

⁴ Аристотель. *Поэтика*. М., 1957. С.67-68.

⁵ Барт Р. *Избранные работы*. Семиотика. Поэтика. С.98.

⁶ Кассирер Э. *Техника политических мифов* // Октябрь, 1993, №7. С.158.

Отталкиваясь от специфики современного мифа, как она сформулирована семиотикой, можно рассмотреть несколько исторических нарративов, определивших историографию бывшего СССР как своеобразный артефакт литературы. При всём разнообразии сюжетов советский исторический нарратив имел ряд особенностей, отличающих его от других исторических нарративов. Среди этих особенностей три наиболее заметны при непредвзятом подходе:

а) перманентная дискурсивная война с классическим историческим нарративом («буржуазная историография»);

б) повышенная аксиологичность: оценка событий превалирует над их связным изложением;

в) редукционизм: отбор фактов осуществляется исключительно по мере их значимости для семиологической системы, благодаря чему удельный вес каждого факта возрастает, причем сам факт становится своего рода примером, образцом; с другой стороны, факт ослабляет аргументацию, превращая текст в мифологическое образование.

С известной долей уверенности можно утверждать, что благодаря трём названным особенностям нарратив, свойственный советской историографии, достаточно быстро эволюционирует от артефакта литературы к мифологической структуре. Проявление такого движения можно достаточно четко обнаружить в нескольких значимых параметрах.

Исторический нарратив и проблема имени. Как мы знаем, «имена в мифологии обозначают наиболее существенную часть мифологической системы. Специфика мифологических текстов такова, что мифы без имён практически не существуют»⁷. В этом плане исторический нарратив советской историографии продельвает над именем три основных процедуры: изобретает имя несуществующего лица, устраняет имя путём поглощения денотата коннотатом, и, наконец, табуирует его.

В 1956 г. вышла книга «Материалы по истории воздухоплавания и авиации в СССР». В разделе «Воздухоплавание и авиация в России до 1907 г.» рассказывалась история о Крякутном, который якобы первый в мире совершил путешествие на воздушном шаре, доказав таким образом русский приоритет в области воздухоплавания. Между тем, специалистам хорошо известен механизм создания этого несуществующего персонажа. Как свидетельствует Д.С. Лихачёв, в тексте «1731 года в Рязани при воеводе подъячий нерехтец Крякутной Фурвин сделал мяч большой, надул дымом поганым и вонючим» «путём фотографических исследований удалось установить, что слово «нерехтец» написано поверх слова «немец», а фамилия «Крякутной» покрывает слово «крещеной», что же касается фамилии «Фурвин», то она исправлена из первоначальной – «Фурцель»⁸. Несмотря на протесты специалистов, Крякутной продолжал триумфальное шествие по страницам научной и научно-популярной литературы вплоть до последнего десятилетия XX столетия.

Не менее важным свойством исторического нарратива в XX столетии становится повышенная коннотативность имени. Следует иметь в виду, что коннотации подвергается любое имя, попавшее в поле нарратива историогра-

⁷ Топоров В.Н. Имена // Мифы народов мира. Т.4. М., 1994. С.508.

⁸ Лихачев Д.С. Текстология. Л., 1983. С.353.

фа, что само по себе резко мифологизирует рассказываемую историю, однако по мере сокращения временной дистанции коннотативность возрастает. Можно сказать, что чем ближе историк находится к описываемому событию, тем более расплывчатым становится денотат, всё более опутываемой сеткой коннотативных значений. Усиление коннотации имени по мере хронологического движения от прошлого к настоящему можно наблюдать в пределах одного и того же текста. Показательный образец такого нарратива являет собой Краткий курс «Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» (1938). Если в первой части нарратива коннотации подвергаются в основном антипартийные группировки и течения, то по мере приближения повествования к финалу в большей степени начинают коннотироваться имена. На последних страницах курса имена практически поглощаются коннотатами.

«Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо считали себя – для потехи – хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье.

Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются всего лишь – временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий, как ненужный хлам.

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа»⁹.

Поглощение коннотатом имени его денотата усиливает напряжение между нарративом и противостоящим ему дискурсом. По мере движения от начала к концу текста энергия исторического нарратива ослабевает, а дискурсивная энергия возрастает.

Но здесь мы сталкиваемся с новой проблемой, оригинально решаемой историографией XX века. Всякое усиление дискурсивного начала, как мы знаем, усиливает авторское присутствие в тексте и, напротив, ослабление его превращает текст в чистый нарратив, где присутствие лиц в рассказе обнаружить невозможно. В этом смысле Краткий курс текст с безусловно ярким авторским присутствием, но не имеющим эксплицированного автора. Текст создан под редакцией комиссии ЦК ВКП(б), но имя его автора оказывается табуированным. Возникает чисто аномальная ситуация: когда выражения «Сталин – автор Краткого курса» и «Сталин – не автор Краткого курса» в одинаковой мере являются истинными и ложными.

В советском историческом нарративе мы, таким образом, наблюдаем двойной род табуирования. Табуируются имена демонов, свергнутых и обреченных на вечное забвение (фамилии деятелей оппозиции не упоминались в энциклопедиях вплоть до конца 1980-х годов, возникала парадоксальная ситуация, при которой, скажем, был троцкизм, но не было Л.Д. Троцкого). Но не произнесенным оказывается и имя демиурга Текста, благодаря чему демиург получает права оракула, а сам текст выражает абсолютную истину, совпадаю-

⁹ История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1997. С.332.

шую с коллективным желанием. Ведь оказываясь в магическом пространстве, «человек ощущает глубокое неверие в себя, в свои личные способности. В то же время он сверх меры верит в могущество коллективных желаний и действий. Волшебник, чародей, колдун обретают силу потому, что действуют не как отдельная личность – в них собрана и сосредоточена мощь всего племени»¹⁰.

Начав с неизбежности имён как наиболее существенной части мифологической системы, исторический нарратив теряет в ходе рассказываемой истории необходимость в их денотате, сводя оппозицию к Имени с большой и имени с маленькой буквы. Культ личности становится культом магии.

Исторический нарратив и проблема генезиса. Не менее характерной чертой советского исторического нарратива, как уже отмечалось, является перманентная война с классическим нарративом XIX в., тяготеющим к прозрачности благодаря опоре на документальные свидетельства. Одним из главных тематизмов такой войны становится норманская теория. Как известно, классическая историография не только спокойно принимала факт призвания варяжских князей, но и актуализировала его позитивное значение.

«Тогда граждане вспомнили, может быть, о выгодном и спокойном правлении Норманском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость; и Славяне, *убеждённые* – так говорит предание – советом Новгородского старейшины Гостомысла, потребовали Властителей от Варягов. Древняя летопись не упоминает о сем благоразумном *советнике*, но ежели предание истинно, то Гостомysl достоин бессмертия и славы в нашей Истории»¹¹.

«Призвание первых князей имеет великое значение в нашей истории, есть событие всероссийской, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное, начальное явление в основании государства – это соединение разрозненных племён через появление среди них сосредотачивающего начала, власти. Северные племена, славянские и финские, соединились и призвали к себе это сосредотачивающее начало, эту власть»¹².

С большой долей уверенности можно утверждать, что война, объявленная советскими историографами классическому нарративу, вдохновлялась и направлялась не появлением новых материалов, но целиком была во власти мифологических интенций. Как сказано в Советском энциклопедическом словаре, «норманская теория, антинаучное направление в русской и зарубежной буржуазной историографии, сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями государства в Древней Руси... Несостоятельность норманской теории окончательно доказана советской историографией»¹³.

Не касаясь сейчас тезиса об «антинаучности» норманской теории, можно отметить, что отказ от неё был чреват нарушением определенной нарративной симметрии. Дело в том, что существует большое различие между тем, признаём мы предание или нет, различие отнюдь не только мировоззренческое, но

¹⁰ Кассирер Э. Техника политических мифов. С.156.

¹¹ Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1. М., 1998. Стб. 68-69.

¹² Соловьёв С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1. М., 1988. С.123.

¹³ Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С.921.

прежде всего нарратологическое. Признавая предание, мы получаем возможность трансформации исторического дискурса в литературный артефакт, поскольку и здесь и там «простое прошедшее время стремится поддержать иерархию в Царстве фактов. Благодаря его употреблению глагол незаметно включается в цепочку причинно-следственных отношений, входит в совокупность взаимосвязанных и однонаправленных событий... выдавая временную явлений за их каузальное следование».¹⁴

Отвергая предание, мы уничтожаем прошедшее время, а вместе с ним и нарратологическую потенцию исторического дискурса. Можно верить или не верить в то, откуда произошла российская государственность, но нельзя верить или не верить, откуда она не произошла. Порочность антинормализма заключается не в том, что он проявляет скептицизм по отношению к существующему преданию, но в том, что уничтожая классический нарратив Н.М. Карамзина и С.М. Соловьёва, он предлагает в качестве альтернативы нарратологическую пустоту. В более общем плане антинормализм XX века является крайней степенью редукционизма, присущего историографии.

Нарратив и предикат. При всей агрессивности, аксиологичности и редукционизме исторический нарратив советской эпохи обладал ещё одной чертой, без которой столь длительное функционирование политической мифологии вряд ли было бы возможным. Эту черту с известной долей условности можно назвать дуальностью предиката.

В классическом историческом нарративе интрига задаётся необходимостью связать и объяснить противоречащие друг другу факты. «В этом отношении история делает то же, что филология или литературоведение: когда прочтение известного текста или общепринятой интерпретации кажется несоответствующим другим общепринятым фактам, филолог или литературовед заново упорядочивает детали, чтобы вновь придать целому интеллигентность. Писать – значит переписывать заново. Для историка всё загадочное становится вызовом по отношению к критериям того, что в его глазах делает историю приемлемой и прослеживаемой... Великий историк – тот, кому удастся сделать приемлемым новый способ прослеживания истории».¹⁵

В советском историческом нарративе интрига создаётся не конфигурацией фактов, но полем референции, в основе которого лежит метабола – различие, благодаря которому одно и то же явление может описываться с двух противоположных позиций в зависимости от того, рассматривается ли оно как пример глобального обобщения или как частный конкретный случай. Историк в этом случае выступает в роли человека, загадывающего загадки самому себе и с легкостью тут же отгадывающего их.

Важнейшим средством, помогающим реализовать подобную нарративную стратегию, становится дуальность предиката. В качестве простейшего примера дуального предиката можно привести шуточный французский парадокс: «Народ всегда прав, кроме тех случаев, когда он ошибается». Можно указать на три дуальных предиката, наиболее часто сопровождавших исторические нарративы 1930-80-х годов и во многом обеспечивавших функциони-

¹⁴ Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика М., 1983. С.322.

¹⁵ Рикер П. Время и рассказ. Т.1. С.179-180.

рование советской исторической нарратологии: а) все цари реакционны, кроме тех, которые прогрессивны; б) все носители дворянской культуры враждебны пролетариату, кроме тех, кто стал культурным героем; в) все террористы хороши, кроме современных.

Исторически объяснить подобную дуальность легко, точно так же как легко установить хронологическую точку её появления – рубеж 1920-30-х годов, когда слом прежних форм государственности завершился и началось строительство нового государства. Однако это объяснение недостаточно для понимания того, почему данная форма нарратива оказалась приемлемой для большинства членов общества. Ответить на этот вопрос – значит понять, почему именно такая мифология обусловила политический мистицизм различных социальных слоёв, создав иллюзию их единства. Не берясь за решение этой задачи в рамках статьи, вернёмся к анализу конкретных нарративов.

Человеку, отсутствующему в России с 1922 по 1937 г., могло бы показаться невероятным, что по прошествии 20 лет после захвата власти политической партией пролетариата образы «хороших» царей, князей и полководцев буквально заполнили литературное и кинематографическое пространство. Тем не менее остается фактом, что «государственные и военные деятели прошлого были здесь представлены в своих общественно значимых свершениях, составляющих вклад в историю страны. В каждом из этих фильмов в той или иной степени осмысливались отношения между героем и народом (что и служило критерием отбора фактов, положенных в основу фабулы)»¹⁶.

Легко заметить, как быстро нарративная модель отношения между героем и народом из художественного дискурса перешла в исторический, подчинив себе повествовательные интенции последнего. Вместе с тем показательно, что если в художественном повествовании дуальность предиката была преодолена без особых затруднений, то в историческом нарративе она до конца не была преодолена вплоть до последнего десятилетия XX в. Бесконечные споры историографов о прогрессивной ↔ реакционной роли опричнины или о необходимости детоубийства царевича Алексея отцом-строителем порождали противоположные нарративы, создавая среду конкурирующих мифологических сюжетов, что, возможно, и стало началом конца советского историографического дискурса.

Другим показательным примером дуальности предиката в историческом нарративе явилась трансформация культурного мифа в идеологический. В одной из своих статей¹⁷ я пытался показать, что в процессе коммуникации культурный миф проходит три стадии: генерализации – феноменологизации – деконструкции. Тем интереснее, что именно один из глобальных культурных мифов России – пушкинский миф, был преобразован в 1930-е годы в миф идеологический.

Как известно из работ Г. Лассуэла, в отличие от культурного мифа схема идеологического мифа включает в себя: доктрину-лозунг-меранду. Доктриной

¹⁶ Козлов Л.К. Исторический фильм // Кино: Энциклопедический словарь. М., 1986. С.157.

¹⁷ Шатин Ю.В. «Пушкинский текст» как объект культурной коммуникации // Australian Slavonic & East European studies. Vol.13, #1. Melbourne, 1999.

идеологического мифа стала книга Д.Д. Благого «Социология творчества Пушкина» (1927), в которой поэт предстал не только в качестве ярого врага самодержавия, но и тайного революционера, сумевшего под видом наводнения дать картину восстания декабристов и жаждущего новой пугачёвщины под видом невинных записок Петра Гринева. Между доктриной и мерандой прошло 10 лет, когда столетие гибели Пушкина отмечалось как всенародное торжество. Что касается лозунгов, то они стали предметом специального анализа в статье В. Рецептера «История читательских заблуждений». «Своим» и невинным, – пишет автор, – у стенок и в лагерях пришлось отвечать за все грехи русской истории. «Я мстил за Пушкина под Перекопом», – объяснял один из «своих» стихотворцев. А другой, обращаясь к поэту на «ты», высказался ещё прямее: «Мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес»¹⁸.

Разумеется, исторический дискурс давал микшированный вариант пушкинского идеологического мифа, но и он не мог полностью избежать нарративных схем, положенных в его основание. Так, один из самых крупных историографов советского времени акад. Л.В. Черепнин, касаясь эволюции политических взглядов Пушкина, предлагал следующую нарративную схему: «Мысли о дворянстве как общественной силе, выступающей от имени народа и ограждающей его от произвола самодержавия, были выражением политической оппозиции Пушкина существующему государственному строю. Здесь могло сказаться влияние на писателя дворянских революционеров-демократов. Но с течением времени, в последние годы жизни, Пушкин в связи с занятиями историей восстания Пугачева всё более подходит к пониманию роли народных масс в борьбе за свои интересы»¹⁹.

Легко видеть, что при всём стремлении к объективности историк оказывается в поле нарратива, где культурный герой наделяется свойствами мифологического персонажа, жаждущего освобождения народа. «Современник ряда революций в Европе, в ходе которых рушились троны и падали монархии, переживший национальный подъём 1812 года и ставший свидетелем подвига декабристов, ненавидящий крепостное право, аракчеевщину, царский произвол, Пушкин в изучении прошлого искал уроки политической борьбы, гражданского мужества, национального самосознания»²⁰.

Вместе с тем нигде, пожалуй, дуальность предиката не выявилась столь сильно, как в нарративе, где основным действующим лицом оказывался террорист. Надо сказать, что нарратив о террористах появился в русской общественной мысли задолго до захвата власти большевиками и был буквально выпестован радикальной интеллигенцией. Естественно, героический нарратив эта интеллигенция распространила и на террористов послереволюционной России. Здесь-то и выявился первый род дуальности, связанный с противоречием между деятельностью террориста и гуманизмом, который проповедовала интеллигенция.

¹⁸ Рецептер В. История читательских заблуждений // Рецептер В., Шемякин М. Возвращение пушкинской «Русалки». М., 1998. С.65.

¹⁹ Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968. С.25.

²⁰ Там же. С.55.

Характерно в этом смысле свидетельство Н.Я. Мандельштам. «Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора»... Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы».²¹

В отличие от Мандельштама и Иванова-Разумника, проявлявших к данному нарративу завидную, хотя и противоположную последовательность, советский исторический нарратив резко развел диахронический аспект с синхронией. Воздав должное героизму террористов прошлого, мифология создающей идеологической системы обрушила всю свою мощь против преступлений террористов-современников. Это привело к смене акцентов дуального предиката: на место оппозиции гуманизм ↔ терроризм, была выдвинута другая бинарность: терроризм прошлого ↔ терроризм настоящего. Естественно, при такой перемене нарратив героя-террориста в ещё большей степени лишался каких-либо рациональных оснований, откровенно обнажая свою мифологическую природу.

Характерно, что столкнувшись с дуальностью предиката, советский исторический нарратив сохранил в чистоте мифологическую чистоту имени. Даже в том случае, когда два исторических героя были реальными антагонистами, историческая нарратология старательно разводила их функции. Как известно, Суворов окончательно разгромил восставших под руководством Емельяна Пугачева казаков. Нарратив развел двух героев, сохранив за Суворовым переход через Альпы, а за Пугачевым функцию защитника интересов простого народа. И здесь мы опять сталкиваемся с отличием архаической мифологии от современной. В архаической мифологии прагматической измерение семиозиса выступает как результат взаимодействия с измерениями синтаксическим и семантическим. В современной мифологии прагматика целиком подчиняет себе синтактику и семантику, становясь универсальным механизмом, управляющим нарратологической схемой. Такое отличие бесспорно сказалось на глубинной структуре языка и речевой коммуникации его носителей. Изучение этих изменений может составить предмет отдельного семиологического исследования.

²¹ Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 2001. С.14-15.